

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВЕЩИ В ВОСПОМИНАНИЯХ Д. И. ЖУРАВЛЕВА

Мне и Е. Н. Пенской от нашего научного руководителя Анны Ивановны Журавлевой осталась рукопись воспоминаний ее дяди, Дмитрия Ивановича Журавлева. Они написаны в 1960-х – 70-х гг. и посвящены семейной жизни деревенского и провинциального духовенства Рязанской губернии в начале XX века. Предки Дмитрия Ивановича были священниками, его отец в 20-е годы стал протоиереем Скопина (после того, как в городе оказались закрыты все церкви, кроме той, где служил он). Дмитрий Иванович родился в 1901 году, воспоминания доведены до 1914 года – «болезнь и смерть» любимого старшего брата Сережи, по словам вспоминающего, «положила резкую границу между счастливым радостным детством и всей последующей тяжелой жизнью».

Довольно большая книга – около 25 печатных листов – вся посвящена описанию истории семьи, повседневному быту, обычной жизни. Этот быт был бедным, даже и в Скопине почти деревенским, – и мемуарист это вполне осознавал: мало книг в доме священника, мебель самодельная, окна без штор, – но бедность не переживалась болезненно, и в детстве каждая мелочь материального мира врезалась в память.

Проблема, с которой мы столкнулись, когда оказалось нужно не только подготовить текст к печати и дать реальный комментарий, но и как-то воспринять этот текст в целом, связана с трудностью оценки, понимания природы и степени своеобразия манеры описания мира в этих воспоминаниях. Как известно, в последние десятилетия воспоминания собирают и печатают довольно много, – я имею в виду воспоминания незначительностей, людей, вроде бы не принимавших активного личного участия в исторических событиях, не описывающих своего общения с историческими лицами. История общества сейчас всё в большей степени понимается как история повседневной жизни, и несенсационные воспоминания здесь – очевидный источник сведений. Появляются исследования, посвященные разного рода, как сейчас иногда это называют, – эго-текстам: письмам, дневникам, воспоминаниям. В современной науке вся эта масса воспоминаний о повседневности понимается прежде всего как источник исторических сведений. Поскольку находящийся в распоряжении историков и филологов новый мемуарный материал очень велик, естественно к тому же, что первоочередные задачи, которые решаются сейчас, – это задачи классификации материала. Как особый род словесности XX века (именно словесности, а не художественной литературы – я не буду вдаваться в особый и сложный разговор об эстетической составляющей) этот огромный массив текстов пока не осознан.

Так, оказывается сложно оценить степень уникальности одной черты воспоминаний Д. И. Журавлева, черты, которая представляется странной,

если судить о ней с точки зрения читателя, привыкшего к сюжетной беллетристической прозе. Больше всего в этих воспоминаниях разных, так сказать, объектов материального мира (хотя упоминается и описывается множество людей, – родственники, соседи, коллеги отца, соученики по Духовному училищу и Рязанской семинарии). Книг в доме было мало, и описывается – с картинками, с обложкой – каждая; при доме был сад и пчельник, и даются не только схемы сада с точными измерениями, – дается история каждой яблони, с объяснениями, почему выбрали тот или иной сорт, каждого улья, тем более что ульи были по большей части самодельными и Журавлевы, увлеченные пчеловоды, не только выбирали модель, но и конструировали ульи сами. Описывается дом – дается не только схема каждой комнаты, но и история каждой комнаты – как она меняла хозяев, что из нее исчезло в голодные двадцатые годы, какие попытки сделать жизнь чуть удобнее и уютнее предпринимали мальчики (мать умерла рано).

Дмитрий Иванович был физик-экспериментатор, доктор наук, он заведовал кафедрой физики в московском Институте землеустройства. Естественно поэтому, что его описания объектов, которыми наполнен мир, совершенно лишены любых риторических украшений, но при этом очень конкретны и, видимо, очень точны.

Обилие предметов и их описаний поражает. Конечно, некоторые из этих описаний могут быть полезными для историка и краеведа. В Скопине были разрушены все церкви, кроме кладбищенской, город стал неузнаваемым; судя по сегодняшним беседам на городском форуме в Сети, жители (причем это люди, небезразличные к истории города) с трудом представляют себе, что где было. Так что подробнейшее описание, например, Пятницкой церкви, где служил отец Дмитрия Ивановича, описания скопинских улиц востребованы. Такого, представляющего конкретный, частный исторический интерес, в тексте Д. И. Журавлева много – назову хотя бы описание библиотечки детской литературы, ее состав, судя по всему, типичен для эпохи и социальной среды.

Всё это – пример тех исторических сведений, которые мы в том или ином объеме извлекаем из любых воспоминаний. Интерпретатора ставит в тупик другое – как много оказывается описаний другой природы, описаний исторически вроде бы незначимого, случайного, такого, что значимо исключительно в рамках индивидуальной, личной истории.

Пример приведу один из множества, по-моему, очень выразительный. В конце 70-х годов Дмитрий Иванович обводит контуры топорика, купленного его отцом в конце девятисотых, при строительстве нового дома. Ничего особенного в этом топорике нет. Но есть сильнейшее желание физически зафиксировать прошлое. Обычно Дмитрий Иванович это делает и при помощи фотографий, но фотографии кажутся ему, видимо, чем-то недостаточно осязаемым.

Конечно, этому стремлению вспомнить прошлое до деталей напрашивается естественное объяснение, и его предлагает сам Дмитрий Иванович. Довоенный мир вспоминается как погибший – и, несмотря на

бедность, как мир устроенного, любимого быта. Позволю себе развернутую цитату, чтобы было ясно, о чем идет речь.

«Чай пили с молоком, вприкуску, детям полагалось половина чашки жидкого чаю, прочее – молоко. Вплоть до голодных лет папа совсем ничего не ел до обеда, только пил чай. Нам всем – завтрак, совсем не помню, что давали маленьким. Иногда вареная колбаса. Помню, как ходили за ней Сережа один, Сережа и я, позже иной раз и я один. Это за маленьким углом, рядом с Кудиновыми, колбасная Рудакова. Он делал сам вместе с работником, сам и продавал. Иногда говорил – придите чрез полчаса, вынимаем. Чрез полчаса за 20 копеек получали фунт теплой вареной колбасы. Этот сорт соответствует теперешней "любительской". Была еще 15 коп. фунт – теперь иногда, очень редко, попадает подобная "отдельная". Ребятам и она очень нравилась. Ее покупали, когда надо было угощать приехавших из деревни. К ней – ситный. Когда ходили в школу, на завтрак яйца, сосиски, кетовая икра... И где-то писал: сыру и сливочного масла не было. Вволю белый хлеб, всегда булки, иногда ситный, баранки. На старой квартире по утрам ходил разносчик. У него иногда брали Сереже посыпушку, мне плюшку... Покупали иногда и другую мелочь: калачи с мукой, розаны, просвиры... На первой неделе великого поста – гребешки, рога... посыпаны маком, на постном масле. Так давно все это было, ведь нормальная, налаженная жизнь начала разваливаться в первый же год войны, да так никогда и не наладилась».

Такое отношение к ушедшему быту нам обычно кажется свойственным прежде всего жившим в Советском Союзе. Между тем, как известно, пожалуй, самое яркое и запоминающееся воспоминание через физически осязаемое, через вещь – принадлежит западному человеку, Прусту. Это и сама формула отношения к прошлому – «утраченное время», и желание его буквально воскресить, хотя бы и через вещь, вкус печенья. У европейца тоже был опыт пережитой исторической катастрофы – но налаженный европейский быт, как нам представляется со стороны, вроде бы не прерывался. Д. И. Журавлев почти наверняка знал Пруста; о том, что в семье Журавлевых любили Феллини с его «Амаркордом», известно точно. Я вовсе не собираюсь утверждать, что русские воспоминания буквально писались под влиянием Пруста. Проза Пруста задумана как высокая литература, рассчитанная на аудиторию; в какой степени Журавлев рассчитывал на читателя, сказать сложно, указания на этот счет достаточно противоречивы.

Но есть нечто, объединяющее прозу Пруста и воспоминания русского физика. И то, и другое – проявление особых свойств сознания, свойственных человеку XX века. В XIX веке считалось уместным, вообще единственно возможным вспоминать об общеинтересном, исторически значимом и т.п. Случайное реабилитируется сначала в художественной прозе, да и то медленно; еще по поводу «Детства Багрова-внука» Добролюбов с неудовольствием говорит об обилии случайных деталей. Воспоминания XIX века, обращающиеся к предметным, «случайным» подробностям, – хотя, конечно, в значительно меньшей степени, чем это происходит в

воспоминаниях века XX, – игнорируются, даже несмотря на громкое имя автора: так происходит с воспоминаниями Фета. В XX веке в небывалой раньше степени утверждаются права личной, индивидуальной истории – право вспоминать в том числе и то, что не пригодится профессиональному историку. Процесс припоминания признается ценным сам по себе. Журавлев говорит, что необходимость припоминать, вновь и вновь обсуждать прошлое – просто родовая особенность его семьи; он рефлектирует над собственной памятью, например, сопоставляя сделанные в разное время записи об одном и том же очень важном для семьи событии – болезни и смерти брата. Кажется, в западной культуре признание ценности личных воспоминаний произошло чуть раньше, чем у нас; видимо, можно позволить себе предположить, что общеизвестные, знаковые явления европейской культуры – проза Пруста и фильмы Феллини – отчасти, по крайней мере, подтвердили и для русского мемуариста его право на воскрешение личного и случайного.